

Далёкие милые были

Автор:

Сергей Никоненко

Далёкие милые были

Сергей Петрович Никоненко

Друзья и коллеги Сергея Никоненко надеялись, что однажды он запишет то, что очень бережно сохранила его память, что важно и как биография, и как хроника эпохальных событий, а главное – как наблюдение за развитием личности, как опыт становления актёра. Получилась книга – интересная, мудрая, весёлая; а там, где вспоминаются страдания и грусть, там есть и вера, что ЛЮБОВЬ всё изменит к лучшему. Книга как путешествие, а начинается оно в том самом доме, где некогда жил Есенин, в той самой квартире, где не раз бывали и Василий Шукшин, и Никита Михалков, и... «Стой, кто идёт?!» Серёжа остолбенел – он никак не мог понять, откуда раздавался голос. Наконец заметил меня, и мы начали хохотать. Он поднялся ко мне в «подстаканник», где мы допили «кончаловку», а потом отправились к нему на Сивцев Вражек, в его потрясающую коммунальную квартиру, населённую незабываемыми персонажами, среди которых я с того момента прожил ровно полгода». Никита Михалков, Народный артист РСФСР (цит. по книге мемуаров «Территория моей любви»)

Сергей Никоненко

Далёкие милые были

Мемуары актёра театра и кино

© Киноконцерн «Мосфильм» (Кадры из фильмов)

Во внутреннем оформлении книги использованы кадры из фильмов:

«Война и мир», реж. С.Бондарчук

© Киноконцерн «Мосфильм», 1967 г.;

«Это случилось в милиции», реж. В.Азаров

© Киноконцерн «Мосфильм», 1963 г.

© Никоненко С.П., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

* * *

Глава 1

Рождество

Бабка подтолкнула, и я вышел.

Улица ослепила и оглушила – весна расправлялась с зимой. Прищуренным глазом увидел голубей в московской синеве: стайка, ложась на крыло, то внезапно пропадала, то вновь возникала, дружно махая крыльями и входя в поворот. С крыши хлестали радужные струи, по булыжной мостовой проворно завивались ручьи. Фыркала лошадь, цокала подковами, за ней железными ободами колёс громыхала телега. Блея козлиным клаксоном, расплёскивала лужи легковушка «эмка». Визжало колесо точильщика, брызгая снопами искр. Горлопанила ребятня, гоняя казаков-разбойников из подворотни в подворотню, за ними с лаем носились две шелудивые дворняги. Пищали девчонки, прыгая через верёвочку. И весь этот галдёж норовили перещебетать, перекаркать,

перечирикать взбудораженные весной птицы.

Самая желанная весна... Весна сорок пятого.

– Баба Тань, далеко ли? – остановила мою бабушку соседка по коммуналке грузная тётка Груша.

– А у церкву.

На миг получив свободу, я тут же полез в лужу – опробовал обнову: проверил самодельные красные калоши из бельгийской тонкой резины на моих подшитых валенках.

– Ах, пострел! Чаво удумал, – спохватилась баба Таня, – а ну, ходи сюды.

Корявая бабкина клешня схватила меня за ручонку и потащила за собой по разбитому тротуару Сивцева Вражка, в сторону Гоголевского бульвара – потащила по всему моему раннему детству.

Баба Таня была мне прабабушкой – бабушкой она была моей матери. Моя мама рано осиротела, и вырастили её баба Таня и баба Феня. Счёт своим годам баба Таня потеряла и, сколько я помню, на протяжении лет пятнадцати на вопрос, сколько ей, отвечала: «А восимесят чатыри». Годы согнули бабу Таню; маленькая, юркая, с мужицкими руками, с ногтями, что камни – не всякие ножницы их брали. Баба Таня раньше всех вставала: «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт», – и поспеть за ней никто не мог.

– Коню столь работы не переделать, сколь я за жисть подняла.

От неё я узнал молитвы, от неё же и сказки. Эти сказки слышали от своих бабушек все русские ребятишки: «Няйдеть коза с орехами, няйдеть коза с калёными...» Сказки сменялись молитвами, и я повторял за бабушкой «Отче Наш», «Богородице Дево, радуйся» и длинную «Верую».

– Серёньк, – не раз говорила мне бабушка, – вырастешь, большим станешь, може, и у партию у ихнюю уступишь, а иконку-то под подушкой дяржи.

Взгрустнёт баба Таня – жизнь свою трудную вспомнит, детишек своих малых, умерших в младенчестве. Из тринадцати только две девочки выжили, да и из этих, из двух, мамина мама молодой при родах умерла. Голод вспомнит, пожар, войну японскую, мужа своего непутёвого, по всей сельской округе прозванного Азекой – первым затейником был на святках, на свадьбах, на Масленице, на гуляньях да на престольных праздниках.

– Во куды гляди, а не в бутылку, – очнувшись, проговорит баба Таня. – Прости, Господи, Азеку-греховодника! Скоромным в пост не брековал, да и до ручки горькой дужа охоч был.

«Ручка горькая», скорее всего, была самогонка, а название тянулось от «русской горькой». По морщинистой щеке скатится слеза в беззубый рот, начнёт бабушка слегка раскачиваться и запоёт:

Не унывай, душа моя,

Уповай на Господа.

Помяни, Господи, печаль мою,

Да кого спохлёшь на помочь мне,

Не Твоя ль я коза заблудшая,

От Твоего стада отставшая...

Прошли мы с бабкой Плотников. Там на углу такая здоровенная лужа была – так и хотелось пройти её напрямиком, но бабка потянула к себе, и я зацепил только край лужи.

– Куды тебе, лихоманка, несёт? От неслух какой!

Ноги и на этот раз не промокли – красные калоши выручили. Мне их сделал дядя Сергей. Он пришёл с войны, когда ещё снежные сугробы были; хромал – ходил с палкой. Ехал домой через Москву. А в Москве у него родня, да родня-то такая, дальняя – нашему плетню забор двоюродный – моя мама. Первым делом – мыться. Нагрели на плите большой бак воды, отнесли в ванную, керосину мама дала ему от вшей, мыла хозяйственного, и заковылял фронтовик на помывку.

Потом пили чай. Дядя Сергей достал из своего большого мешка кусок пилёного сахара и дал мне. Кусок был большой, прямо с мой кулак. До чего же сладкий был тот военный сахар. После чая дядя Сергей снял мерки с моих валенок. Из того же мешка достал красную резину, нож, рашпиль и клей вонючий – и пошло дело. Работал-приговаривал: «У меня этой резины на всю Рязань хватит».

Прошли Калошин проулок (это так тётка Груша – соседка по квартире, портниха, коренная москвичка – говорила: не «переулок», а «проулок»).

– Эвона рассापливился... иде утирка? – Бабка достала тряпку, вытерла мне нос. – Ну, ходи веселей, – потянула и заголосила задорно:

Раз, два –

везём дрова.

Три, чатыри –

причанили.

Пять, шесть –

Бьём шерсть.

Семь, восемь –

Сено косим.

Девять, десять –

Деньги весят.

Шарк-шарк – шаркает бабушка, шлёп-шлёп – шлепаю я, норовя больше по ручейку. Прошли «Старые Конюшни» – вот и церковь Филипповская, нищие при входе. Бабушка развязывает узелки на тряпице и раздаёт милостыню по одной монетке: кому копейку, кому две. Я уставился на слепенькую старушку в белом платочке. Она всегда сидела слева от входа, когда светило солнышко. Её вечно окружали тётки – когда две-три, когда больше. Красная лицом, она им что-то бойко говорила и говорила, помогая маленькими ручками каждому своему слову. Если её не было при входе, то она была внутри храма. Она мне казалась очень забавной. Знать бы мне тогда, что это была за старушка! Это потом, лет через пятьдесят, а может, и больше, я узнаю, какая великая духовная мощь, какая

крепость православная ютилась возле храма Св. Филиппа в этой маленькой слепенькой старушке – то была сама Матрона.

Перед входом баба Таня сняла с меня вязаную шапочку и платок из-под неё, трижды перекрестилась, трижды поклонилась – я повторял за бабушкой, – и мы вошли в церковь. На последние медные грошики бабушка брала самую тощую свечку и шла к Богородице. Я за ней, как нитка за иголкой, держась за край её штопаного-пере-штопаного рыжего деревенского полушубка с коваными застёжками. После службы – домой.

Три дороги были у нас с бабушкой: длинная – в церковь, покорооче – на Собачку (Собачью площадку) за керосином и короткая – на Арбат за хлебом. За хлебом я любил ходить больше всего, хоть и вставать приходилось ни свет ни заря и спешить надо было очередь занимать, пока булочная ещё не открылась. И тут не баба Таня тянула меня, а я её: «Баба, хлеба не хватит!» Долго потом взрослые вспоминали меня маленького: «Баба, хлеба не хватит!»

За несколько шагов до булочной я вырывался из бабушкиной клешни, скидывая вязёнку (так бабушка называла варежку), и, лизнув языком свою ладошку, тянул её дяде, который химическим карандашом писал на ней номер очереди.

Шли из церкви домой: «Старые Конюшни»... Калошин... Я шёл впереди, баба Таня, шаркая, сзади.

– Серёньк, ходи сюда, глянь-ко, рассупонился. – Баба Таня перевязала съехавший на мне ремень от противогаза.

Дома на кухне баба Таня водрузила медный чайник на керосинку, которая стояла на большой плите из белого кафеля. Достала припрятанную большую кружку с селёдочными головами.

– Серёньк, нынче Благовещенье. Ти будешь мурцовку ись?

Мурцовка – штука нехитрая. Селёдочные головы заливаются крутым кипятком, кружка накрывается тарелкой, головы парятся – мурцовка настаивается. А как настоится, крошится в неё чёрный хлеб – и всё, мурцовка готова. Баба Таня умудрялась и головы селёдочные съедать. Мне тогда, в сорок пятом, и мурцовка казалась вкусной.

Самая вкусная еда была для меня – похлёбка, которую мой отец Пётр Никанорович приносил в солдатском котелке со службы. Отец служил шофёром в пожарной команде, рядом с Собачьей площадкой. С начала войны он крутил баранку огнемётной «катюши», а после ранения в сорок третьем его перевели в Москву, в пожарную часть.

На помятых погонах у отца всего две лычки, на ногах – большие чёрные ботинки и обмотки до колен... Я с разбегу прыгал на отца, крепко-крепко, что было силёнок, обнимал его за шею и долго-долго не отпускал. Папа пах большой красной машиной – в этом запахе смешались и бензин, и масло, и дёготь, и махорка. И слаще этого запаха и вкуснее ничего для меня тогда не было – даже лучше церковного ладана.

В середине апреля на мою четвёртую весну, в день рождения, прибыл с фронта дядя Андрей. Он был танкист, майор. Женат на Нине, моей двоюродной сестре, которая на двадцать лет была меня старше. Встретиться в Москве они могли только у нас, другого места встречи у них не было. Андрей был откомандирован куда-то далеко-далеко на восток, а сейчас возвращался в Германию добивать фашистов. Проездом оказался в Москве, и у него в запасе было ещё три дня. Он дал знать об этой короткой московской передышке жене Нине (она работала швейей на подмосковной фабрике).

Моя мама светилась радостью, ожидая их встречу. Нагрели воды – танкист Андрей помылся. Ужинали жареной картошкой с тушёнкой, которую привёз танкист. Праздник! Мне дядя Андрюша подарил шоколадку-шарик больше моего кулака. Я тогда ещё не знал шоколадного вкуса.

Ждали Нину, жену дяди Андрея, пили чай. Танкист закинул ногу на ногу, я же уместился двумя ногами на его зеркально начищенном сапоге, и, придерживая за руки, дядя Андрей качал меня вверх-вниз, вверх-вниз. Мама рассказывала историю, которую я слышал потом не один раз.

«Двадцать первого июня в субботу мой Петечка (так мама называла отца) отправил нас с двухмесячным Серёнькой на Смоленщину. Приехали в Корнеево к Фенечке двадцать второго. Я ещё ни подарки не успела раздать – отрезы ситцевые на платья, – ни в Митюшино к родне не сходила, ни в Слепцово, а уж с Андреевского прибежал Виталий и с большака закричал:

– Война!.. Война...

Мне бы сразу спохватиться, да и назад в Москву, но тут вся дубенковская родня загалдела:

– Да она, война эта, через неделю кончится! Шапками их закидаем!

Дядя Вася Тужиков совсем по-газетному сказал:

– Малой кровью на чужой земле!.. Своей земли – ни пяди! Враг матёрый будет бит повсюду и везде!..

Голова кругом – места себе не находила. Ночь не спала, решила утром телеграмму отбить. Серёнку покормила, оставила на бабу Таню с Фенечкой и побежала в Андреевское – благо рядом. На почте очередь, все телеграммы шлют. Встретила знакомую с Ашуркина, сказала, что у меня ребёнок грудной, пустили без очереди. Написала: «Петя война что делать». На другой день снова на почту... до востребования... Петечка откликнулся: «Срочно беру отпуск скоро буду». Какой там! На четвёртый день войны Петечку призвали в армию шофёром. Он успел и телеграмму дать, и письмо написал. Телеграмму не получила – что-то сломалось с телеграфом, а письмо хоть и долго, а дошло. В письме написал, чтоб я с Серёнькой постаралась вернуться в Москву, советовал обратиться за помощью к секретарю райкома Петракову (они дружили по охотничьим делам).

Я снова в Андреевское, к Петракову, а райком закрыт... Изба Петракова заколочена... Хоть волком вой! Пошла к председателю колхоза лошадь просить – до Новодугина доехать. Уговорила. Дядя Вася Тужиков усадил нас с Серёнькой на телегу в свежескошенное сено и повёз. Рано тронулись – к обеду были в Новодугине, и тут как снег на голову: ни на Вязьму, ни на Сычёвку с Новодугина поезда не ходят.

– Нинк, – дядя Вася почесал за ухом, – иде наша не пропадала?.. Мерин кавхозный, хамутня свой, погоняй – ня стой... Давай до Вязьмы двинем, семьдесят вёрст не околица, завтра к вечеру и будем тама.

Поехали, ночевали в стогу сена – ночи тёплые. Добрались до Вязьмы – там столпотворение, людской муравейник: беженцы с тачками, чемоданами, узлами,

детскими колясками. Военные, молодёжь с лопатами – танковые рвы копать. Кругом шум, ор, треск, ругань. Билетов на Москву нет, пойдёт ли поезд – неизвестно, а и был бы поезд, билета б мне не продали – вызов нужен: Москву закрыли. А в толпе этой привокзальной один разговор, как немец прёт.

Нам бы с дядей Васей не на Вязьму надо было ехать, а на Гжатск – расстояние такое же, а там за два-три дня и до Можайска дойти. А уж от Можайска – где попутками, где пешком – как-нибудь добрались бы до Москвы. Пришлось с Вязьмы возвращаться. Приехали – председатель взялся за дядю Васю.

– Где был? Вместо одного дня четыре пропал!

– Не шуми, начальничек, ключик-чайничек. До Вязьмы доехали, разведку провели. Не ерепенься, председатель, пызырём, а суши-ка сухари. Немец не сегодня завтра до Смоленска достанет.

– Ну вот что, разведчик, – ему председатель, – получи-ка вот повестку. Расписывайся и после завтрава на призывной в Андреевское. При себе: ложка, кружка, ножик и харчей на трое суток, а лучше на неделю.

Через два дня мужики Корнеева с раннего утра ушли на войну – и мой дядя Вася Тужиков, и Миша Дубенков, и Виталька Игнатов. Мужиков тридцать и парней с деревни ушло, и председатель ушёл. Тихо стало в деревне: ни гармошки вечером не слышать, ни девок. Даже гунявая бурчалка Фенечка заткнулась.

А гроза шла. Надеялись, что пройдёт стороной – не прошла.

Я на колхозную работу стала ходить: косила, валки развивала, стоговала. Потом рожь жали. А лён какой уродился!

Слух прошёл, что застрял немец под Смоленском, что бои там идут страшные. Чаще всего слышалось: «Духовщина!.. Духовщина!..» И вот второго октября появился в небе над Андреевским самолёт, на нём местные даже кресты разглядели – немец летал. Все оцепенели, даже скотина притихла. «Господи, помилуй», – взмолилась я.

А через три дня от Андреевского по большаку, через наше Корнеево, пошёл немец на Сычёвку. Сначала мотоциклы с колясками, с пулемётами, потом – грузовые с солдатами, велосипеды с моторчиками, за ними – пешие. Пушки лошади тащили. Полдня шли... Потом – танки и ещё какие-то побитые, потрёпанные машины. В Старой Риге у нас в Корнееве устроили ремонтную мастерскую. Из домов нас повыгнали, стали мы с Серёнькой да с бабой Таней в сарайке жить. Под немцем оказались...

Потом пришёл хромой немец, плохо, но говорил по-нашему. Всю деревню переписал, спрашивал о родственниках. Наш дом четверо фрицев заняли. Уходили рано, приходили под вечер – грязные, в мазуте, как трактористы. Мне велели воду греть – мылись. Сильно не безобразили. Уток, гусей порезали – съели, а курей не трогали – яичницу по утрам жарили с салом. Да и самогонкой нашей не брезговали под квашеную капусту.

А тут и белые мухи полетели. Зима пришла. Ядрёная. Декабрь лютый был. Мамуниха слепцовская пришла, сказывала, что под Москвой немцу всыпали и погнали его назад. Ещё сказала, что приятель Петин, Петраков, партизанит, командует отрядом. Двадцать первого декабря на день рождения Сталина и «наши» фрицы ушли из деревни. Ушли, как пришли, на Андреевское. И снова Мамуниха, радио наше ходячее, радостью окатила: «Советская власть в Ляуздове!..Сельсовет!.. И красный флаг!.. Вона куды как пошло...» В груди у меня что-то прорвалось, открылось, дышать стало можно.

– К... к... кто с... сказал?! – заикаться стала.

– Федька сухорукий. У дрова пошёл в Клипичиху, стрёнул щетовода леузовского – тот и проздравил.

Я спохватилась – на другой день решила с утра пораньше дойти до Леузова. Вышла по-тёмному. А мороз! Напялила на себя душегрейку дяди Васи овчинную, побитую молью, телогрейку его и заячью шапку, сапоги кирзовые сорокового размера с двумя портянками на мой тридцать шестой. Серёньку пришлось брать с собой – от груди ещё не отнимала. До Леузова вёрст двадцать с лишком. Дошла быстро – летела, Серёнька спал всю дорогу. В сельсовете возле печки перепеленала его, дала грудь, жду очереди на приём. Народ ходит туда-сюда, двери хлопают. Подходит мужчина с бородой: «Нин, ты? – сам Петраков. – Заходи». Рассказала ему всё, реву. Он трубку закурил, стал успокаивать.

– Не одна ты такая. Будем думать, как вас с детьми на Большую землю переправить – дело непростое. Самолёта у меня нету, придётся пешкодралом. Главное, верить и не вешать носа. Под Москвой вломили фрицу: обдристался против ветра на три метра, не считая мелких брызг. Это только начало. Год будет трудным. После Нового года приходи.

В Новый год проревела подушку насквозь, всё про Петю думала: жив ли? А утром сама себе сказала: «Больше реветь не буду». Опять пошла в Леуздово. Петракова не было, но он позаботился: оставил записку, чтоб покормили и на печке спать уложили. Дня через два сам прибыл, с ним ещё двое с автоматами на трёх санях, гружённых доверху. Поехали на партизанскую базу.

На базе партизанскую одежду стирала, бинты, поварихой кашеварила. И всё в радость было! Еда партизанская простая – картошка да мясо лесное. Замороженного лося двуручной пилой пилили, хребет – топором. Холодец из копыт и голов варили.

Партизаны ходили на задания группами. Другой раз по неделе их не было. Возвращались не все... Раненых не бросали – приносили. В отряде доктор был – лечил, как мог. Человек справедливый, но вспыльчивый – за антисанитарию строго ругал. Советы давал, как выживать, какие лекарства в лесу: мох, смола, иголки ёлок, берёзовый гриб... Меня сам лично остриг наголо машинкой ручной.

В конце января весь отряд ушёл. Петраков сказал:

– Уходим. Дело серьёзное. Ждите.

Тогда в партизанских разговорах чаще всего слышалось: «Вязьма... Вязьма... Вязьма...» На базе остались я с Серёнькой да двое парнишек – Ваня из Красного и Валя с Хонюков. Ребята рассказывали, как их хотели угнать в Германию, как прятались, как попали к Петракову. Обижались на Ивана Наумовича, что не берёт их на задания. Валя показывал мне, как стрелять из автомата. Ваня ходил на охоту – то зайца принесёт, то тетерева. Петраков перед уходом приказал им по очереди нести караульную службу.

Вернулся отряд в середине февраля. Пришли не все... Убитых схоронили, раненых привезли на базу. У Ивана Наумовича рука перевязанная. Подошёл ко мне, говорит:

– Собирайся, Нин. Завтра передаю тебя в другой отряд, с ними дойдёшь до линии фронта, фронт перейдёшь, будешь на своей земле. С ихнего края мясорубка поменьше.

Утром перед уходом снова подошёл, снабдил на дорогу.

– Возьми хлеб, сало, мыло трофейное, спички, нож-складничок. И справку вот эту возьми, береги её: на Большой земле она тебе будет нужна. Справка с печатью райкомовской – подтверждает, что ты была в партизанском отряде, с ребёнком. Вернётся Пётр, передай ему мой лесной, партизанский, охотничий привет, – улыбнулся. Первый раз улыбнулся, помягчел и сказал: – Держись.

Села в сани, Ваня повёз меня. Передали меня с Серёнькой в другой отряд. А там таких бедолаг, как я, – семь, я – восьмая. Все с детьми, одна даже с двумя, из города Луги, учительница пения, Тинкой звали. Шутила: «Мы с тобой как близнецы: Нина – Тина».

Пошла наша кочевая жизнь: из этого отряда недели через две попала в третий, потом ещё один был, совсем небольшой. Если в январе все говорили про Вязьму, то в марте только и слышалось: «Ржев, Ржев...» Клином сошлась война на этом Ржеве. А Ржев-то был совсем под боком, каких-нибудь километров сорок – от силы пятьдесят.

Тина из Луги рассказывала нам книжку «Хождение по мукам», сравнивала хождения сестёр из этой книги с нашей бедой, и получалось, что «по мукам» – было у нас, а у них – «хождение по мукам».

Помотали, помотали нас по партизанским лесам и решили переправить через фронт у Белого. С вечера плотно покормили; поспали часа три и в ночь пошли. Вышли к полю.

– Ну, кто первый? – спросил один из провожатых. Я шаг вперёд. Провожатый, первый пух у него на верхней губе, развернул плащ-палатку на снегу:

– Клади ребёнка, ложись, берись за угол и поползли.

Сам лёг. Ползём вдоль кустов, доползли до большой поляны.

- Передохнём, - сказал парень, - тута место открытое - побойчей надо будет. Недалеко уж, - посмотрел на небо, - луна эта, как назло, открылась.

Ползём - пот градом, а весело на душе, и тут вдруг ракета над нами, осветительная, зависла - и началось! Истошно завывали мины и давай долбать ближе-дальше. Закрыла собой Серёньку - и креститься: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Царица Небесная, Мать Пресвятая, Богородица, Заступница Казанская». Земля гудела, поле - в воронках... Как слышим, близко летит, - так в воронку; разорвёт где-то рядом - опять ползём. А Серёнька улыбается, даже смеётся в голос.

- Бедовый у тебя малец. Боевое крещение принял, теперь ему ничего нипочём.

Свалились в воронку, опять рядом бухнул.

- Переждём. Тута всего ничего: вона до той берёзы - и своя земля.

Проползли под колючкой - под проволокой. Кто-то позаботился - проход сделал. Нас ждали, из кустов окликнули:

- Стой! Кто идёт?

- До Вязьмы далеко? - крикнул провожатый парень.

- Меняй лошадей, - ответили. Это пароль у них такой был: вопрос - ответ.

По окопу пошли с солдатом, провожатый пополз назад. Дошли до землянки, в ней тепло - самодельная железная печка топилась. Перепеленала Серёньку, дала грудь. Поел и уснул, и я в сон, в дрёму. Стали другие беженцы подходить: Тина с ребятишками, другие. Нам «шрапнель» горячую принесли - кашу перловую. До чего вкусной показалась!

Дети, даже самые малые, всё понимали - никто не куксился, не гундел, глаза смотрели по-взрослому. Одну женщину осколок зацепил, в руку попал, так она ещё радовалась: хорошо, мол, что не в ногу - а то как бы дальше идти?

Пришёл комбат с солдатом. Чай пили, солдатский, из кружек алюминиевых. Потом пришёл ещё один, в белой ушанке, – носатый, худющий, простуженный, с горящими глазами. Подошёл к комбату, протянул ему игральные карты:

– У твоих отобрал – в очко резались.

Комбат положил карты на стол рядом с коптилкой. Носатый стал смотреть на нас, на беженцев. Тихо стало. Долго смотрел, мы чай допили.

– Ну, а документы у вас какие имеются?

Мы закивали головами, полезли доставать. Я показала ему справку, Серёнькину метрику и партизанскую справку Петракова. Долго читал, придвинув коптилку поближе, поднимал горящие глаза – смотрел в лицо, будто сверял что-то. Смотрел не мигая, подкашливал.

– Хм...хм... В партизанском отряде с января только?

Вернул бумаги мне, стал другой заниматься. Я документы спрятала, а сама всё на карты смотрю – на Петю захотелось погадать. Поймала взгляд комбата.

– Можно я погадаю? – указала на карты, тот кивнул согласно.

Носатый уставился на меня, замотал головой, вздохнул громко, закашлялся. Я взяла колоду, села на неё. Гадать меня научила подруга Кира, ещё в Ленинграде (мы вместе работали на «Светлане», и в общежитии наши койки рядом стояли), у неё бабка из цыганок была. Сiju на картах, про Петю думаю.

– А для чего сидеть-то на картах? – спросил носатый.

– В них же играли, а на таких картах гадать нельзя – соврут. А если посидеть на них, правду скажут.

– Очистятся они там, что ли, под задницей? Бред...

Я нашла червонного короля, положила перед собой, перетасовала хорошенько колоду, стала раскладывать. По картам вижу, жив мой Петя, и всё дороги у него,

дороги – и ближние, и дальние... и всё по казённым домам. А куда же деваться: шофёр – вот и дороги.

Потом Тина попросила погадать, другие женщины – всем гадала. У этой, раненной в руку, такая чернота легла, я уж крутилась-вертелась, как могла, мрак этот на картах развеяла – хоть как-то, а обнадежила. Одна женщина за гадание мне яйцо варёное сунула, другая – луковицу. Комбат две буханки черняшки разрезал и каждой дал по четверти, мне ещё и карты отдал. А носатый справки нам выдал: где фронт переходили.

Отвели мы окопной жизни, но недолго пробыли. На другой день, да не день – ещё ночь была, скорей под утро, по-тёмному двинулись на Большую землю. Пошли в сторону Осташкова[1 - Город в Тверской (тогда Калининской) области.]. Пока не рассвело, нас провожали два солдата, вывели на дорогу. Отошли мы от фронта километров на десять. Один из солдатиков, совсем мальчишка, дал нам совет: «Идите так, чтобы солнце светило утром в правый глаз, днём в правый бок, вечером в спину. На заход не идите».

Пошли мы, ещё вёрст десять отмахали. Устали, особенно дети – еле тащились. Смеркалось, дошли до деревни, хозяева легко пустили нас. В трёх избах разместились, я – с Тиной. У хозяйки нашей баня была натоплена, не остыла ещё. Отвели душу – и намылись, и перестирали всё: и своё, и Серёнькино. И картох в мундирах с капустой квашеной наелись от пуза, и на печку спать, и – на своей земле.

День ещё передохнули и пошли. Ночевать пускали везде, никто не отказывал – война всех породнила. С едой перебои были, да и эта беда – не беда. Но уж так не неслись, как после окопов. Через неделю пришли в Пено, дальше по шпалам до Осташкова. А тут и апрель. Ляксяй, Божий человек, не ночуй за рекой – распутица.

В Осташкове в комендатуру пошли, нас там и оставили. Ночевали в камере. Расспросы-допросы пошли: «Кто? Когда? Куда? Откуда? Почему? Зачем?» Две недели хлебали баланду тюремную. Я говорила, что хочу домой в Москву. Тина в Лугу хотела, а та – под немцем. Выдали нам предписание идти в Вышний Волочёк и по прибытии явиться в милицию.

Серёнке год исполнился. Перед Вышним Волочком у Серёнки жар поднялся. Застряли мы на неделю. Тина без меня не хотела идти, одна с двумя детьми. Пустили нас старики – дед с бабкой. Привела бабка старуху-знахарку, та всяких трав принесла, велела заваривать и поить Серёнку.

Гадала на Петю каждый день и Тине гадала. Бабка растрезвонила по деревне – и пошли бабы ко мне. Я ничего не просила, а что давали, брала, не отказывалась. Приносили хлеб, картошку, капусту, рыбу сухую солёную.

Дед Кузьма, пропахший ядрёной махрой, смотрел, смотрел на мои сапоги, в руки взял, покрутил-повертел и сказал:

– Отплясали твои сапоги – каши просят. Далеко не дойдёшь.

Он и сапоги мои починил, и ещё калоши для них старые нашёл под стряхой. Мало того, мне с Тиной лапти сплёл.

– Самая здоровая обутка – лёгкая, непотливая. До белых мух хватит, не развалятся.

Я ещё тогда подумала: «Неужто наших мух хватит до белых мух? Неужто к осени дома не буду?» Глупая...

А ещё дед Кузьма откуда-то приволок старую, ржавую детскую коляску, у неё только колёса остались и ручка. Прикрутил к ней проволокой старую корзину – получилась тележка:

– Вот тарантайка вам в поход.

Да ещё мне и Тине по полведра овса сыпанул:

– Кормитя, девки, детё овсом – будет молодцом.

Утром, в лаптях, да и со своим транспортом, почесали в Вышний Волочёк. В тарантайке ещё и Серёнке место нашлось, так что шли налегке. Пришли в Вышний, нашли милицию. Снова расспросы, как в Осташкове, ещё и анкеты заполняли. Постановили, что пошлют запрос в Москву о Пете, а пока этот ответ

на запрос вернётся, руки сложа сидеть нечего – надо работать, пользу фронту приносить. Про Тину и разговоров не было – Луга в оккупации.

Устроили меня с Тиной на фабрику валенки валять: меня трепальщицей, Тину чесальщицей. Поселили в бараке: потеснили людей, отодвинули от стены шкаф, сколотили из брёвен и горбыля двухэтажную койку, вместо матрасов мешки с соломой. Тина с ребяташками внизу, валетом спали, я с Серёнькой наверху. Занавеску сгношили из потёртых, латаных простыней – получилась своя шестиметровая комната, да и треть окна нам перепала. Чем не жильё! С крысами воевали – золу в подполье сыпали. Мылись – тут повезло: барак наш стоял рядом с железнодорожными путями, так когда паровоз сливал кипяток, мы с двумя вёдрами на коромысле, третье в руке, тут как тут. Таз нам одалживали, и мы в этой же камерке и мылись. Бывало, все вымоемся – сперва дети, потом мы – капли не прольём мимо.

Ещё радость была: горшок детский в грудке металлолома нашла, дырявый. Ну, да бригадирша наша, матершинница Тося – мастерица на все руки была, гармонистка-частушница – запаяла, залудила. Первый подарок Серёньке был.

Ну и карты выручали – гадала, да так ловко пошло. Нагадала одной: «Не пустые твои хлопоты, известие тебе с поздней дороги», – ей письмо с фронта, а то два месяца не получала. Другой: «У мужа скорая дорога домой, так что нечаянная радость у тебя на пороге», – через два дня прибыл муж на побывку. А Петечка мой, карты говорили, где-то далеко. Я в милицию каждый день после работы забегала: «Пока ничего, ждите». Ждала...

Хозяйством стали обрастать: кастрюли, ложки, кружки, даже чайник появился. Днём я с Тиной на фабрике валенки валяла, по ночам, бывало, и вагоны разгружали, когда за картошку, когда за так – всё для фронта, всё для победы. А в бараке у нас на хозяйстве одиннадцатилетняя Светочка, Тинина дочка. Золотая девчушка – любой старухе нос утрёт, такая умелая да сноровистая. А пела! Недаром мать – учительница пеня. Голосок высокий, чистый – родничок. Про «тонкую рябину» или «сердце в груди бьётся как птица». А уж когда с матерью да на два голоса – барак замирал, слушали. Очень смешно у них выходило: «Моя душечка, моё солнышко» – это Тина начинала, а Светочка отвечала ей: «Ах, оставьте! Всё слова, слова, слова...» И с Серёнькой нянчилась, и братика воспитывала, читать его учила, и щавель собирала, и рыбу с мальчишками вечером удила. По воскресеньям все ходили в сторону Выдропужска по грибы, по ягоды. Белые, подберёзовики, подосиновики сушили,

а лисички, сыроежки да всякие волнушки жарили и на похлёбку оставляли.

Щеголяли мы с Тиной в лаптях деда Кузьмы, работали, сводки с фронта слушали. А война к Волге покатилась, к Сталинграду. Мне в конце августа пришёл ответ в милицию о Пете: сообщили номер его воинской части. Я прямо там, в милиции, написала ему письмо. Написала, что живу в Верхнем Волочке, что жива-здорова, что ждём не дождёмся с Серёнькой письма от него. Сложила письмо в треугольник и отправила. Прибежала в барак, первым делом – второе письмо Пете писать, подробное. Сразу же в тот же вечер и отправила. Сентябрь жду, октябрь жду, ещё три письма опустила в почтовый ящик. На картах гадаю каждый день. В церковь ходила, помолилась: «Господи, помилуй Петю...» Жду.

Светочка по воскресеньям стала выступать в госпитале, пела. Её там и покормят, бывало, и с собой чего-нито дадут.

Наконец прилетела Петина весточка. Я по почерку его красивому на конверте узнала – сам писал. Написал, что воюет, крутит баранку с утра и до вечера и с вечера до утра, что обрадовался моим письмам – в один день оба-два получил. Написал, что скучает, что хочет Серёньку в руках подержать. «У меня, – написал, – три мечты: живым с войны вернуться, тебя с Серёнькой увидеть и целый год спать».

А на Волге фриц всё давит и давит. Голос у Левитана совсем железным стал из чёрной картонной тарелки радио – послушаем, посмотрим друг на друга, покиваем головами и разойдёмся. И каждый день: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Притихло всё, и все притихли, бригадирша Тося материться перестала. У всех одна боль была, одна надежда, хоть и замороженная эта надежда была: Сталинград, Сталинград, Сталинград... И не я одна, думаю, в душе все молились: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!»

В декабре письмо от Пети: написал, что без его вызова нам с Серёнькой в Москву не попасть – город на особом военном положении. Посоветовал по возможности продвигаться ближе к Москве, лучше всего в Иваньково[2 - Ныне Дубна.], на Большую Волгу, там сестра его родная Варя и жена родного брата Андрея – Соня. Соня директором школы номер один работает – заменила ушедшего на фронт мужа.

В декабре мороз прибавил, а надежда стала оттаивать – опять наши верх стали брать, и у Левитана в голосе победные звуки появились. На Новый год маленькую ёлочку на подоконник поставили, Светочка из разноцветных бумажек малюсенькие игрушечки вырезала и нарядила ёлочку, даже звёздочку на макушку смастерила. Тося, бригадирша, пришла, само собой, с гармошкой, принесла кастрюлю, завернутую в одеяло:

– Не гусь рождественский, а не хуже, думаю, тетёрка будет.

А картошка горячая! Да с капустой! Поллитровку самогона где-то раздобыла. Пир! Проводили тяжёлый сорок второй, встретили сорок третий:

– За ПОБЕДУ! За то, чтобы мужики наши живыми вернулись!

Песни пели. Очень нравилось Тосе, как Светочка под её гармошку поёт.

Мы с Тиной пошли провожать Тосю. Снег хлопьями лениво падает. Тишина – прямо мирная жизнь. Тося рванула гармошку: «Когда б имел золотые горы...» Тина и я подпевали. Вдруг из соседнего барака с визгами прямо на нас выскакивает женщина в одном платье, за ней мужик хромой с дубиной суковатой, орёт:

– Я те враз... глаз... на анализ!

Я с Тиной в сторону, на обочину, а Тося как гаркнет:

– Стой, стрелять буду!

Хромой встал как вкопанный, пьяными глазёнками разглядел впотьмах Тосю, замахнулся на неё. А Тося хрясть ему промеж глаз – тот с копыт. Лежит в одной рубахе на снегу, кровь с носа хлещет.

– С Новым годом! – поздравила его Тося.

К концу января ни одной сводки информбюро не пропускали ни дома, ни на работе. Дождались – разгромили гадов, радовались. А моя радость недолгой оказалась. Письмо пришло от Пети: ранен, в госпитале, рана, пишет, пустячная.

Я ему каждый день стала письма писать, благо почта военная – бесплатная. На картах разложу: вроде бы всё неплохо, да вот только приклеилась к нему блондинка, вертихвостка какая-то... В марте решила двинуть к Большой Волге, в Ивановско.

Рассчиталась на фабрике. В милиции подсказали, когда пойдёт машина на Бежецк. Тина собрала меня в дорогу: грибов сухих отсыпала, ягод, картох, сваренных в мундире, дала и рыбы солёной сухой. Прощались – плакали, обещались найти друг друга после войны. До Бежецка ехала с Серёнькой в кузове: в кабине с шофёром старая бабка села. Шофёр, скотина, пол-литру молока Серёнькиного отобрал за проезд. Я ему про мужа-шофёра раненого и что больше года уже домой иду, а ему плюй в глаза – всё Божья роса, скотина такая...

Из Бежецка в Кашин, Серёнька капризничает – то затихнет, а то ревмя ревёт. Одна старая дура, попутчица, присоветовала:

– Да брось ты его в сугроб. Молодая – ещё нарожаешь. Чего мучиться так?

Я ей за совет слово такое откусила – враз отстала.

Добрались до Кашина, нашла госпиталь. Врачиха посмотрела Серёньку, сказала, нужен детский врач, а у них такого нет, сказала, что детский врач есть в Калязине. До Калязина больше двадцати вёрст. Полдороги пешком, другую половину на попутке – повезло.

Дело к ночи. Серёнька кричит, заходится – охрип даже. Нашла детского врача в госпитале военном. Он, в годах уже, осмотрел Серёньку, сказал, что нужна операция, и желательно срочно – паховая грыжа, ущемление. У них хирургов нет, надо срочно в Кашин...

– Так я только оттуда пришла, там же врачиха смотрела, что ж она?..

– Ты вот что, дочка, времени зря не теряй. Нужен хирург. Операция несложная, но откладывать нельзя. Ребёнка старайся нести в наклон, чтобы голова была ниже попки – ему так легче будет.

Пошла в ночь. Луна, мороз с ветерком. Серёнька кричит, я реву, слёзы на щеках сосульками, спешу – чуть не бегу. А Серёнька уж и не кричит, а стонет. И ни одной попутки, только встречные машины, да и то редко. Из Кашина едут, в Кашин – нет. И вдруг в чащобе лесной – глаза! Светятся! Волк! Достала нож Ивана Наумыча, закричала по-звериному – пропали глазища...

По Кашину я уже бежала, вломилась в госпиталь, одно слово сорвалось у меня:

– Хирург! Хирург!

Хирург молодой, ровесник мой, взял Серёньку, осмотрел:

– Первая мирная операция у меня за войну.

Села я там у них на какой-то ящик, реву себе тихо, а когда наревелась, пришёл хирург:

– Всё хорошо, мамаша, сынок в полном порядке.

Я повалилась ему в ноги и чувствую, сил у меня больше нет. Хирург отвёл меня к кастелянше, дал выпить спирту, дал огурец солёный, хлеб.

– Всё хорошо, мамаша. Поспи тут.

Днём уже принесли Серёньку, я его передела в чистое. А Серёнька пальцем одной руки по ладошке другой водит:

– Согока-волока кафу валила.

Дочка Тины так с ним играла: «Сорока-воровка кашку варила, деток кормила». Я вздохнула и выдохнула – гора с плеч свалилась.

С неделю, может больше, пришлось кантоваться в госпитале, пока швы не сняли. До Калязина с ранеными доехала, от Калязина пошла на Кимры. Дней через пять пришла в Ивановково. Нашла школу – открыла дверь Соня.

– Гражданка, вы к кому?

– Сонь, не узнаёшь? Нина я, Петина жена.

Соня дико смотрела на меня, лицо её тянулось книзу.

– Ни-и-и-на?..

У Сони в зеркало глянула на себя – лицо чёрное стало всё, как короста какая приварилась. Долго у Сони не сидела – у неё самой двое маленьких: погодки Эля и Вовочка, да ещё и мама её с нею жила. Чаю попили и пошли к Варе.

У Петинной сестры Вари трое девочек: Нина, Клава и Лиза. Варя уборщицей работала у Сони в школе. Нина (шестнадцати годов) и Клава (четырнадцати) ходили лес валить, двенадцатилетняя Лиза оставалась дома.

Соня устроила меня дворником при школе. Живу с Серёнькой в Иванькове. А от Пети вестей нет. Гадаю – и опять бубновая вертихвостка какая-то вокруг него крутится на картах. Три письма отправила Пете, ответа нет – сердце не на месте. А Москва для меня без Пети закрыта.

Дожила до осени. Вспомнила, что был у Пети приятель, тоже охотник, который жил под Подольском, а жена его, Клавдия, работала поварихой в детском садике. Подольск ближе к Москве, чем Иваньково. Клавдия звала мужа по фамилии – Мозгов. (Мы с Петей ездили к ним до войны, и они у нас пару раз были в Москве, на выставку собачью вместе ходили и на стенд-стрельбище.) Так вот написала я ей письмо объяснительное, расписала все свои «хождения по мукам». Просила узнать, нельзя ли у них устроиться на работу – любую, лишь бы к Москве поближе быть... Адреса я её не знала, так написала на работу: Московская область, Подольский район, Рязаново, фабрика 1-го Мая, детский сад, Мозговой Клавдии. Через две недели получила от неё письмо: пишет, чтоб приезжала, не откладывала; и работа есть – кладовщицей, по совместительству уборщицей, а жильё – придумаем.

Я к Соне с письмом: так и так. Соня в Иванькове не последний человек была: через два дня нашла водителя, который ехал в Москву на легковушке. Он взял меня с Серёнькой и мало до Москвы – до Рязанова довёз. Клавдия встретила меня как сестру родную. И заведующая детсадом, и воспитательницы (две девки

молодые) – все ко мне радушны, я поняла, Клавдия поработала – она им всем письмо моё читала.

Затащили в кладовую матрас, поставили на кирпичи. Всё мне дали: и простыни, и наволочки, и одеяло ватное – старое, но тёплое. Детей уложили (у Клавы сынок Валерка, в честь Чкалова названный, годоводок Серёньки). Выпили по маленькой, помянули мужа Клавы – он погиб под Курском.

Наконец прилетела весточка от Пети. Его после ранения перевели на службу в московскую пожарную команду, само собой, шофёром. Написал, что его пожарная часть рядом с Собачьей площадкой, за театром Вахтангова, что в увольнение он ходит домой. Пете сорок пять стукнуло – верно, его по возрасту и перевели в Москву.

Снег пошёл, и вот... приехал Петя! Праздник! Серёньку с рук не спускал. Пробыл часа три – вечером должен был вернуться в пожарную часть. Выхлопотал он мне разрешение вернуться в Москву. А на электростанцию мне путь отрезан до особого разрешения Первого отдела. Решили с Петей, что лучше мне пока оставаться с Серёнькой в Рязанове: и тепло, и сытно, и врач под боком. Полтора года жила под Подольском.

Петя нашёл в Москве «шарашку»: штампованные пуговицы зачищать на рашпеле от ушек-заусенцев, дырки в них сверлить и нашивать на фабричную картонку по шесть штук – работа надомная. Наконец-то вернулась в Москву, почитай, три с лишним года ходила я по мукам. Новый, сорок пятый год встречала дома».

Глава 2

(У)лица моего детства

Стук в парадную дверь – приехала жена Андрея Нина. Радость, крики, поцелуи, слёзы и снова поцелуи. Чай пили сладкий, внакладку. Громоподобная Нина то и дело прикладывала к себе отрез на платье, привезённый мужем:

– Ох, и платье будет! Ну, держись, Малаховка!

После чая мама, баба Таня и я пошли к соседке тётке Груше. Пришли Лиховы, баба Настя с тётей Любой и дочка тёти Любы Люська. Стали играть в «козла» (играли каждый вечер).

У тётки Груши в комнате с двумя окнами стоял большой стол-сороконожка. Она была женской портнихой и принимала заказы прямо на дому. На этом столе она и кроила, и метала, и обедала с мужем дядей Володей Сухачёвым, глухим молчаливым бухгалтером Сытинской типографии. Между двумя окнами у тётки Груши стояло старое зеркало под потолок, перед которым модницы вертелись на примерках. На столе в открытой коробке с напёрстками и булавками лежали тяжёлые большие ножницы, трогать которые никому не разрешалось. Тётка Груша с лиловатой, отвисшей нижней губой приговаривала с одышкой: «Это – хлеб мой насущный». Ещё в её большой комнате была низкая круглая печка, как бочка. Труба от неё шла через комнату в коридор, а оттуда на кухню, а в кухне труба упиралась в дымоход (дом был построен ещё при царе, плиты были с дымоходами). Три военные зимы эта печка спасала от мороза тётку Грушу с дядей Володей и ещё бабу Настю, которая зимой жила в их комнате. Остальные жильцы были в эвакуации.

Женщины играли в карты, дядя Володя шаркал на счётах, моя баба Таня кемарила в уголке, а я с Люськой в который раз смотрел открытки. У Агриппины Васильевны – у тётки Груши – было очень много этих открыток и специальное приспособление для просмотра – такой ящичек с громадной линзой, через которую и рассматривались картинки, игрушка прошлого века. А на открытках – и цветы, и кошки с собаками, генералы с орденами, корабли, полуголые тётки, зализанные с проборами дядьки, сердца, пробитые стрелами.

Я там, у тётки Груши, и уснул. Проснулся уже в нашей комнате – сонного меня принесли. Ни мамы, ни бабы Тани не было. На полу, где мама постелила гостям постель, дядя Андрюша лежал на тёте Нине и тяжело дышал, а тётя Нина крутила головой. Я обрадовался и закричал:

– Дядя Андрюша победил тётю Нину!

Дядя Андрюша обернулся ко мне, рассмеялся, снял с руки часы:

- На-ка, держи.

Дядя Андрюша ещё вчера заметил, как я заинтересовался его часами. Там в часах была такая стрелочка, которая всё время крутилась. Я приложил часы к уху и услышал, что они тикают, догадался, что тикает эта самая стрелочка, которая крутится. Очень захотелось достать эту стрелочку. Под подоконником, в углу у батареи, была коробка с папиными отвёртками, напильниками, плоскогубцами и рашпилем. Я достал самую маленькую отвёртку и попытался отколупнуть стёклышко у часов, но у меня ничего не получилось. Тогда я попробовал поддеть маленькую пуговку на часах – у меня получилось! Я стал крутить эту пуговку, и стрелки стали вертеться. Стрелка побольше быстро вертелась, а маленькая – медленно. Мне так понравилось крутить эту маленькую пуговку, и я старался крутить её быстрее и быстрее! Подзатыльник тёти Нины остановил меня – она голая подскочила ко мне и отобрала часы.

- Ты что ж это делаешь? Это ж дорогая вещь!

- Отдай ребёнку часы, – сказал дядя Андрюша, лёжа на спине с закрытыми глазами, – пусть играет.

Днём мы гуляли по Москве. Дядя Андрюша купил мне и тёте Нине мороженое. Мы катались на метро, три раза въезжали из ночи в день и прямо на мост. Потом был другой мост – Крымский. С этого моста были видны танки и пушки фрицев – в Парке Горького была устроена выставка трофейного фашистского оружия. Дядя Андрюша сажал меня в мотоциклетки, танкетки, подсаживал на танки «Тигр» и «Пантеру». Я вместе с другими ребятами ликовал от счастья. А потом мы снова кушали – и опять было мороженое и газировка с сиропом, которая смешно щекотала пузырьками в носу. А потом я с тётей Ниной катался на карусели, а дядя Андрюша с тётей Ниной фотографировались. Через два дня дядя Андрюша уехал на фронт воевать.

И снова мы с мамой ездили на метро до станции «Курская», переходили Садовое кольцо – там недалеко и была «шарашкина» фабрика. На «шарашке» сдавали картонки с нашитыми пуговицами, потом в рюкзак нам сыпали неотёсанные пуговицы-заготовки, давали новые картонки, и мы возвращались на Смоленку. Тут скоро Первомай подоспел, и скоро – Пасха. Но все ждали другой праздник – ждали ПОБЕДУ!

У меня был маленький куличик и три яйца, крашенные в луковой шелухе, – это всё было завязано в узелок, и я сам нёс этот узелок в церковь святить. У бабы Тани был свой узелок, побольше, и ещё один от бабы Насти. Пришли в Филипповскую церковь, там во дворике стоял стол, на который бабушки и тётки ставили куличи с крашеными яичками, у кого-то даже пасха была. Пристроились и мы с бабушкой. Баба Таня развязала узелки – ждём. Вышел батюшка и стал святить: макал в святую воду метёлочку и махал – брызгал водой сверху вниз и в сторону. Мне очень понравилось, как он это делал, тоже так хотелось святить. Мой узелок стоял с краю неразвязанным, и батюшка, уже замахнувшись своей метёлочкой, вдруг заметил его и замер.

– Развязать! – приказал он, указывая на мой узелок другой рукой.

Баба Таня поспешно развязала, и мой маленький куличик был освящён, а заодно и я был умыт святой водой, к большой моей радости.

Вечером у тётки Груши играли в «козла». Баба Настя встала:

– Ну, кто спать, а я стирать.

– Долго стирать-то собралась? – спросила её тётка Груша.

– А как война кончится...

Посмеялись, разошлись. И вот... пришёл этот день! Пришло это утро! Баба Настя стучит в двери:

– Победа! Победа!! ПОБЕДА!!!

Мама включила радио: «Победа!» Всё стало клокотать и звенеть! Звенело всё! Открывались окна, и звон выливался на улицу, а с улицы звон возвращался в дома криками, песнями, духовыми оркестрами. Заиграли все гармоники и патефоны, звенели мальчишки, звенели девчонки, фронтовики-инвалиды срывались на крик:

– Нас со всего полка семнадцать осталось!

– Мы – месяц в болоте!..

– А как вырвались за перелесок на лёгких... и там туча... в три пулемёта... ни одна пуля не пропала...

– Я с Рокоссовским кашу, понял, с одного котла!..

– Горбатые подоспели, а то б крышка...

Звон победы разрастался и растекался по всем улицам Москвы до самого вечера, до самого салюта. Ура-а-а!.. А после салюта, казалось, народу на улицах прибавилось. И снова: «Ура!» – и снова песни, и снова танцы! Мы всей квартирой пошли на Садовое кольцо, даже глухой дядя Володя пошёл. Прошли через бараки, где сейчас стоит высотка МИДа. Люди танцевали, пели, целовались, военных – качали. И опять: «Ура! Ура! Ура-а-а!..»

Наутро пришёл отец, принёс в солдатском котелке вкусную похлёбку, сказал, что в субботу поедem сажать картошку: его как стендового стрелка спортобщества «Динамо» не забыли – позвали и для посадки выделяют полмешка картох. Мама очень обрадовалась – своя картошка! И в пожарной части папе дадут увольнение на целый день.

В субботу, как только метро открылось, папа, мама и я поехали на стадион «Динамо». Там мы сели в кузов грузовой машины и поехали в Апрелевку сажать картошку. Полный кузов машины набилось людей. Я блаженствовал – сидел у папы на коленях. Ехали с ветерком и песнями.

Мирная жизнь налаживалась, и вдруг как гром с неба – убили дядю Андрюшу: погиб в Берлине за два дня до конца войны. Тёте Нине пришла похоронка уже после Дня Победы. Я с мамой был на Арбате, мама говорила по телефону-автомату с тётей Нюрой, папиной сестрой, и на неё обрушилась эта чёрная новость. Мама закричала – прохожие оглядывались, я испугался.

Стали возвращаться эвакуированные. В нашу квартиру вернулись Набатовы, они пережили войну в Уфе: тётя Шура и её дети – Зина, Валя и Вовка. Скоро дядя Филя вернулся – их отец.

24 июня! Парад Победы! День выдался мокрый. Как слёзы капали редкие капли дождя. Слёзы горя мешались со слезами радости. По Садовому кольцу проходили участники Парада Победы. Мы с бабой Таней пошли к «Смоленскому» гастроному смотреть парад. С разных сторон доносились духовые оркестры. Перед нами шли победители, шли на Красную площадь, шли наши (как Суворов говорил) «чудо-богатыри», чтобы швырнуть наземь проклятые знамёна и штандарты фашистских извергов. Мимо проходила конница, остановилась. Я глядел во все глаза на дядю, который сидел на лошади и держал, как мне показалось, настольную лампу – круглую с бахромой, такую же, как у нас дома была, только без лампочки. Дядя военный на лошади стоял долго, и я разглядел, что это была не лампа, а знамя – древко поднималось выше, и над его головой ветер играл красным полотнищем. Но больше всего мне понравилась железка на пятке у дяди, с колёсиком – потом я узнал, что это была шпора.

Летом мы ещё два раза ездили на картошку – пололи, окучивали. Осенью собрали три мешка. В октябре приехали Российские: тётя Фрося и её дети – Катя и Ваня; старшая Ксения была на фронте – служила переводчицей, и её ещё не отпустили. Вернулся сосед дядя Лёша Зимин, он жил в шестиметровом чулане на кухне.

А маму на электрозавод не берут и не берут. Причина – находилась на оккупированной территории во время войны в сорок первом году (завод был оборонным). Мы по-прежнему ездим с мамой в «шарашку», зачищаем на рашпиле штампованные пластмассовые пуговицы от заусенцев, пришиваем их к картонкам по шесть штук, отвозим, сдаём, забираем целый рюкзак заготовок. Привозим эту надомную работу и в шесть рук – мама, баба Таня и я – шлифуем рёбра пуговиц.

К ноябрьским праздникам приехал сам Иван Наумович Петраков. Он был секретарём райкома, приехал в Москву на совещание. Мама не знала, куда посадить его и чем накормить. Обычно мы ели картошку в мундире – а тут мама заняла в долг у бабы Насти штофчик подсолнечного масла и нажарила картошку на большой сковороде. А Иван Наумович позвал меня и попросил совсем взрослому:

– Серёжа, а принеси-ка мне кружку московской водопроводной воды.

Я двумя руками, стараясь не расплескать, принёс. Иван Наумович не спеша выпил.

- До чего же вкусна московская вода!

После картошки пили чай, и мама рассказывала, как она шла в Москву три с половиной года. Рассказала про папу, «шарашку», завод. Иван Наумович остался ночевать, спал на полу – мама одолжила матрас у Лиховых. На другой день он с мамой поехал на завод и письменно поручился за маму. Ему, кадровому партийному работнику, поверили и маму наконец взяли на работу – мама вся светилась.

- Ну, теперь каждый день будем есть картошку с маслом! – объявила она, вернувшись с завода.

Определили маму работать в горячем цеху – особо вредное производство, работала с плавиковой кислотой.

- Она, зараза такая, эта плавиковая, стекло проедает. Держать её можно только в парафиновой корзине, – говорила про неё мама. На пенсию она уйдёт в сорок пять лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Город в Тверской (тогда Калининской) области.

Ныне Дубна.

Купить: https://tellnovel.com/ru/nikonenko_serгей/dalekie-milye-byli

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)